Л. М.

НЕПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДОСТОВЕРНОСТИ

/Отрывки из воспоминаний/

Начало см. "ЧАСЫ" № 53.

(Н а б о к о в)

Дом был на Большой Морской. Ближе к тому её концу, где она переливается в набережную Мойки. Трехэтажный особняк. Фасад покрыт орнаментальной росписью середины XIX века. Как будто бы в стиле Итальянского Ренессанса, но все же безвкусной. Мне доводилось бывать в очень богатых квартирах. Даже таких, которые располагались в двух этажах. Но это было, можно сказать, палаццо. Все три этажа - единое жилье.

Пальто надлежало оставить на вешалке у подножия внутренней лестницы. Швейцар отнюдь не был особенно величественен. Держался просто и деловито. Звали его Устин. Как я вскоре убедился, он был нужнейший человек в доме. Он был исполнителен. И даже распорядителен. Но в меру. Его весьма ценили.

Два лестничных марша в бель-этаж отличались импозантностью и роскошеством. Я ждал, что в парадных комнатах меня встретят картины художников "Мир искусства". Но в большой старомодной гостиной уныло и ординарно чернели "малые голландцы". Самые малые из "малых". Вероятно - наследие отца хозяина, министра. И только на простеночке у окна одиноко новаторствовал своей декоративной красочностью эскиз Анисфельда к замечательному фокинскому балету "Исламей".

Володина мама показалась мне чересчур уж тщедушной, излишне нервической. К большим масштабам столь великолепного дома она не вполне подходила. Поделилась, как приличествует, своими заботами о сыне. Сама назвала цифру оплаты. Пробормотала было, что больше нельзя. Сумма была не малая, но не так, чтобы очень великая. Я не стал возражать. Прическа моей собеседницы была спереди прикрыта полуцилиндром черного картона. Немножко похоже на головной убор царицы Нефертити. Передо мной извинились за такое неглиже. Это - из-за мигрени. Моя мама тоже страдала от головных болей. Но она попросту кутала голову в теплый платок.

Заниматься с Володей было бы легко, если бы не его рассеянность. Схватывал, когда хотел, сразу. К сожалению, его голова была полна другим. Слишком многим другим! Восприимчив, начитан, наблюдателен, сообразителен. Как говорится - не без способностей. Но импульсивен, избалован, себялюбец. Аристократически-породисто долговяз, худущ. На мой взгляд - чрезмерно. Наружность запомина-

щаяся. Но без особой обаятельности. В бассейн с водой теперь уже не полезет. Но, видимо, действительно влюбчив.

Комната Володи – на третьем этаже. Достаточно просторна и светла. Мебели много. А также всяких вещей, вещичек. Особо строгого порядка нет. Но нет и обжитости. Как это нередко в богатых домах – какое-то ублюдочное сочетание гостиной с жилой комнатой. Где-то рядом, кажется у Володиного брата, слышна канарейка. Она приятно чирикает. Правда, к особняку на Морской это не очень подходит.

Как-то раз в Володину комнату во время наших занятий зашел сам Владимир Дмитриевич. Наконец-то я его увидел! Обаятельная фигура выхоленного барина-интеллигента и исключительная обходительность. Он старательно извинялся, что помешал нам. Зашел, не подозревая, что Володя занят. Всё это было сказано так непосредственно натурально, что я тотчас заподозрил ненатуральность. Вероятно, он все-таки знал, что я здесь, и нарочно зашел познакомиться с репетитором сына.

К умеренному политическому оппозиционерству Владимира Дмитриевича я был безразличен. Так же, как и к его заслугам как криминалиста. Но просвещенная многосторонность его интересов не могла не внушать уважения. В частности – его симпатии к "Миру Искусства". И особенно – благородство его выступлений во время процессов Бейлиса. Ничего похожего на тургеневского Сипягина в нем как будто и не могло быть. И все-таки, кажсь, что, перечитывая "Новь", нет-нет, а вспоминаю Володиного отца. Правда – самую чуточку.

В неисполнительности Володю упрекать не приходилось. Мы быстро заштопали прорехи в его математических знаниях. Но времени для этого у него всегда оставалось лишь в обрез. Однажды он так куда-то спешил после урока, что ему разрешили воспользоваться отцовским собственным автомобилем. Заодно он подвез меня до трамвайной остановки на Невском. Это было кстати: день выдался мерзко оттепельный, ненастный.

Случилось также как-то, что его еще не было дома, когда я пришел. Меня встретила его мама, извинилась, что Володя где-то задержался, просила подождать. На улице стоял мороз. Она решила, что я продрог и мне надо согреться. Обещала прислать наверх чаю. Чай принесли из буфетной в первом этаже. Принес на подносе

вельможно молчаливый лакей. Не чета Устину. От него веяло холодом. Он медлительно важно выложил на стол салфетку, поставил передо мной сахарницу, тарелку с ломтиками кекса, и красивую плоскую чашечку с чаем. Чай оказался совсем остывшим.

Особой приязни друг к другу мы с Володей не испытывали. Да и занятия наши длились не так уж долго. Его интересовала лишь возможность поговорить со мной, со студентом, изучающим гуманитарные науки, о литературе. Он писал стихи. Как много значат связи: Володино стихотворение Петр Струве напечатал в "Русской мысли". А сам Володя издал несколько стихотворений, посвященных какой-то барышне, отдельной брошюрой, роскошно, но безвкусно оформленной. Кроме того, он представил мне целый сборник стихов, отпечатанный на машинке. Мой отзыв был, как говорится, "благожелателен и суров". Я счел своим долгом осудить спешное сочинительство, неотделанность, эклектическое подражание устаревшим и сомнительным образцам раннемодернистической поэзии. Володя, конечно, знал Гумилева, Ахматову, не говоря уже о Блоке. Но их серьез еще не дошел до него. Я на пробу принес ему только что вышедшее "Простое как мычание" Маяковского. Он снобистически снисходительно одобрил. Восчувствовал лишь поэтическое озорничание.

После одного из первых наших занятий я попросил Володю показать главные аппартаменты дома. Очень хороша была "Радуга" Сомова. В обширной ванной, которую следовало бы назвать "бассейной", на стенах выше линии кафеля висели эскизы костюмов к "Исламею". Это был один из лучших интерьеров особняка. Кабинет Владимира Дмитриевича подавлял своей солидностью. Здесь находилась особая достопримечательность - картина с подписью Рафаэля. Подпись была хорошо видна, но вызывала сомнение. Александр Бенуа полагал, что это - превосходный Перуджино. На монументальном письменном столе рядом с соответствующих размеров чернильным прибором стоял в рамочке портрет хозяйки дома в молодости, нарисованный Бакстом. Я позавидовал: у меня на столе стояла любительская фотография Аси. Мне эта фотография была очень дорога, но, конечно, рисунок Бакста был бы предпочтительнее.

В нижнем этаже находилась библиотека. Вокруг огромного стола толпилось множество стульев. Стол был своего рода реликвией. Он был свидетелм рождения "кадетской" партии. Но много больше меня растрогало, что здесь в библиотеке совсем недавно сидел Герберт Джордж Уэллс. Англомания была традицией дома.

Стены дома были пропитаны интеллектуальными интересами. А еще больше - политическими. Номер газеты "Речь", которую как-то при мне Устин протянул Володе, казался мне первым экземпляром тиража. Володя был в курсе всяких политических новостей. От него первого я узнал об убийстве Распутина. Убийство совершилось накануне тут же рядом, на Мойке, в доме Юсупова. Володя рассказал о нем весьма подробно и совершенно достоверно. Это было в самом конце 1916-го года. Того года, которому Маяковский наугад пообещал "терновый венец революции". Революция пришла, но только годом позже.

/.../ О Володе я знаю немногое. Его мама беспокоилась, кем он станет, а я, помнится, тогда слегка покадил: у него такой дед и такой отец, он не должен им уступить. Володя со всей семьей очутился в эмиграции и стал писателем. Писал стихи, но больше занялся прозой. Писал её и по-русски и по-английски. Он одинаково принадлежит и русской эмигрантской литературе и американской. Его значительнейшее произведение, психологический роман с изрядной долей секса, экранизирован и расценен как важное литературное явление. Избранный им литературный псевдоним звучит странно - Сирин.

(Данилов)

Тогда еще никому не было ведомо, что первую мировую войну придется называть "первой мировой". Она затягивалась. Зинаида Гиппиус надумала выступить с докладом.

Очередное заседание Религиозно-философского общества, именовавшегося также попросту "Религиозной", было назначено вопреки обыкновению не в Малом зале Географического общества, а в специально снятом для этого большом помещении. Народу пришло много. Зинаида Николаевна была слаба голосом. Доклад читал за неё философов. Она же восседала на эстраде рядом с ним и с высокомерным торжеством, плохо прикрываемом смиренно-благожелательными улыбками, щурилась на публику.

В докладе с необычайной и все же соблюдавшей чувство меры смелостью изобличалась неправедность войны, её несовместимость

с исповеданием христианства. Вполголоса высказывались те мысли, которые втайне роились у слушателей. Доклад был умный и даже по-своему последовательный. Аплодисменты звучали искреннее обычного. Но выступавшие в прениях как всегда говорили замысловато и скучно и как всегда оставались несносно неискренними в своем стремлении искренне выразить ту невнятицу, что переполняла их головы.

И вот на эстраде появился Данилов. Его фигура странника с картины Сурикова "Боярыня Морозова", его путаная речь, в которой легкое оканье и придыхания никак не могли прикрыть её чисто интеллигентской путаницы и многоглаголения, были обязательны для "Религиозки". Данилов был нужен для того букета различных религиозных сознаний, которые старательно подбирали и не смогли связать воедино Мережковский, Гиппиус и Философов. Так же нужен, как либеральный батюшка - Константин Аггев, как свой "живой Фейербах" - еврей и марксист Борис Аркадьевич Столпнер, как взбунтовавшийся семинарист - профессор Антон Владимирович Карташов. Без них пустозвонное умствование Мережковского, сдобренное жеманничанием Зинаиды и нудным аристократизмом Философова, были бы просто несносны.

Данилов, профессиональный искатель божеской истины, никогда не снимал своей коричневой шинели. И никогда не надевал шапки. Когда-то при нем избили человека за то, что тот не скинул тотчас шапки при виде начальства. Данилов решил раз и навсегда, что лучше обходиться вовсе без головного убора. Он любил порисоваться своим нищенством, нищенством петербургского Франциска Ассизского. Любил в присутствии студенческой молодежи, почтительно поглядывающей на его аскетическую фигуру, простецки поговорить с гардеробщиками "Религиозки". Гардеробщики по-настоящему ему сочувствовали, когда он уходил с непокрытой головой в сырую осеннюю мглу в поисках пристанища где-то на краю города, едва ли не на Охте. Когда он умер, Философов почтил его корректно прочувствованным некрологом в "Речи".

Выступление Данилова в тот вечер было совершенно необычным. Он вышелушивался из своего косноязычия. Его слова были повиты пламенем полной убежденности. Председатель не мог его остановить. Все ждали, что вот-вот появится пристав и разгонит собрание. Оратор явно забыл о благоразумии, более того - об элементарном

приличии: он был бестактен, он подвергал "Религиозку" опасности быть совсем закрытой.

Данилов рассказывал о своих странствиях в первый месяц войны по России. Он заверял, что нигде - ни в поездах, ни на дорогах, ни в крестьянских избах, ни где бы то ни было, где ему приходилось вести разговоры с теми, кто ему встречался, он не услышал ни одного слова о нужности человекоубийства, именуемого войной. Он утверждал, что народ не знает, что такое Россия, родина. Нет русского народа! Есть лишь некоторое финско-славяно-татарское племя. И оно хочет жить. Ему нет никакого дела до политики, до государственных интересов. Ему чужды всякие высокие патриотические идеи, высокие задачи борьбы с германским варварством.

Речь Данилова прорвала все плотины благоразумия. Она подлинно вздымалась "над схваткой".

И я её хорошо запомнил.

(М а к с и м Г о р ь к и й)

Максим Горький, Леонид Андреев, Федор Сологуб подняли щит над евреями. В конце первой военной зимы они возглавили своими именами афишу большого благотворительного концерта. Вслед за концертом последовало издание беллетристическо-публицистического сборника под их же редакцией и с той же благотворительной целью. Сборник так и назывался "Щит".

Концерт демонстрировал интеллигентский протест против усиливавшегося в дни войны антисемитизма. В числе обещавших выступить на защитно-еврейском концерте была даже Тамара Карсавина. Устроители приняли все меры, чтобы в зале сидело как можно меньше евреев. Заказывать билеты предлагалось во избежание очередей по почте и все заказчики с явно неарийскими фамилиями получили один и тот же ответ, что они опоздали и на них билетов не хватило.

Все же стараниями своего приятеля, вездесущего Шурика, сумевшего затесаться, несмотря на свое еврейство, в контролеры, я попал на концерт. Но опоздал. Карсавина уже оттанцевала свой

хлипких номер. Мне пришлось довольствоваться лишь концом первого отделения. Зинаида Гиппиус, жеманно стараясь быть величавой, прощебетала восьмистишие, славившее Его - Христа, и закончившееся напоминанием, что он - еврей. Что-то с обычным для него равнодушием бормотал Сологуб. Горькому не разрешили прочесть то, что он наметил. Он ненадолго появился на сцене с книжкой "Детство". Он начал читать почти вполголоса. Перелистал две-три страницы, и оборвал. Он и не думал скрывать, что выступает внеохотку.

В антракте, буксируемый все тем же пронырливым Шуриком, я просочился в артистическую. Завидя знакомого студента Соломошу, неизменного распорядителя на благотворительных концертах, лекциях, вечерах любой национальности, я изо всех сил поспешил протолкнуться к нему. И внезапно очутился рядом с Максимом Горьким. Горький присел к столу и на титульном листе растрепанного томика "Детства" вывел огрызком карандаша семь букв своего имени. Затем протянул книжку хмельному от счастья Соломоше, сердито буркнув "больше писать не буду", и отошел. Он был весьма похож на памятную мне с детских лет карикатуру, которая изображала его зло огрызающимся на приставания поклонников.

В другом конце артистической длиноволосый красавец в художнической блузе надписывал книгу для худощавого юноши в студенческом сюртуке. Красавец оказался Леонидом Андреевым. Соломоша и сюртучный юноша начали ребячески величаться друг перед другом полученными автографами. У сюртучного юноши надпись была подлиннее, но он специально принес из дому новую книгу Леонида Андреева, чтобы умолить автора надписать её. Зато Соломоше удалось заполучить экземпляр "Детства", бывший собственностью Горького.

Долго толкаться в артистической не пришлось. Старичок с физиономией заслуженного охранника высадил меня, как и многих других посторонних, из комнаты. По ту сторону двери стояли двое рабочих в парадных пиджаках и трепетно молили, чтобы их допустили лицезреть Алексея Максимовича. Их пролетарскому облику как-то совсем не шла институтская восторженность молящих взоров...

Три с половиной года спустя, уже при советской власти, Горький, поразмыслив, решил простить большевикам закрытие своей газеты "Новая жизнь". Он надумал собрать ленинградских интеллигентов в Таврическом дворце, чтобы преподать им, как надо вести себя и что делать в условиях пролетарской диктатуры. Я счел своим дол-

гом присутствовать при сем. Желающих послушать Горького оказалось очень много. Их выстраивали в колонны на улицах вокруг Таврического сада. Когда моя колонна наконец добралась до дворцового двора, то оказалось, что Горький уже успел кончить свой коротенький доклад и даже уехать. Во двор вышел кто-то другой: он что-то разъяснял интеллигентам от имени большевиков, но даже и его не было слышно.

Это было в начале трудной голодной зимы 1918-19 года. К концу той же зимы Горький попытался поддержать отощавших писателей устройством их выступлений перед широкими народными массами. На первом таком выступлении, происходившем в помещении театра-фарс, в котором до революции актрисы привыкли выступать едва ли не в полном "без-белье", массы оказались представлены преимущественно мальчишками-папиросниками и прочей публикой с Невского проспекта. "Экваториальный лес", великолепно прочитанный Гумилевым, нашел у слушателей отклик. Последним выступал Блок. Он читал "Перед судом", и у него вместо лица была маска. Горький, что-то глухо бормотавший по книжке, появился в середине вечера и не вызвал никакого восторга. На нем были фланелевые белые валенки выше колен.

В последний раз фигура Горького промелькнула передо мной много лет спустя в Москве. Он изжил, наконец изжил, решительно и бесповоротно былые несогласия с советской властью. Он вновь появился на родине. Госиздат рекламировал выпуск полного собрания его сочинений в небывало большом тираже. Плакаты с портретами Горького, приглашавшие подписаться на это издание, рассыпались по всему городу. Чудесный летний вечер спустился над Леонтьевским переулком, где меня задержала случайно встретившаяся знакомая. Мы остановились наискось от подъезда, у которого вырастала толпа. В этот подъезд только что вошел Горький. Не успели мы с моей знакомой перекинуться несколькими словами, как толпа зашевелилась. В дверях подъезда появился высокий сутулый человек. Это был Горький. Он сел в машину вместе с Халатовым, ловкачом из Госиздата, курчавым плотным мужчиной, мозолившим всем глаза неизменно грязной кожаной курткой, и уехал.

(О с т р о у м о в)

I

Холодный гудящий ветер несется над рекой. От его резких ударов низко пригнулась трава на прибрежном обрыве. Кое-где среди травы мелькают белые цветы. Трава написана более свободными, порывистыми мазками, наложенными по направлению ветра. Но цветочные головки воспроизведены с наивной тщательностью. Зеленый цвет не совсем натурален, он недостаточно травяной и не очень вяжется ни со светлым тоном желтого песка, ни с сине-лиловой рябью реки. Река изгибается и уходит вглубь. Её поверхность на переднем плане неожиданно горбится: здесь какая-то неточность в передаче перспективного сокращения. Над обрывом летят две чайки, сносимые ветром. Эта немудреная повествовательная деталь живописно не слишком нужна. Вдали среди реки - остров, поросший кустарником. Он вырисовывается с несколько назойливой четкостью.

Но зато очень хороша темнозеленая гряда леса, замыкающая горизонт. И еще прекраснее ряды рваных туч, тянущихся наискось от реки к лесу. Небо насыщено доподна ощущением движения, воздушности, сурового простора. И самый выбор пейзажного мотива, типично русского, неприветливо-будничного и все же исполненного глубокой поэзии, редкостно удачен. Настолько удачен, что указания на отдельные недостатки картины кажутся мелочными придирками.

"Эта одинокая картина должна быть отнесена к самым драгоценным явлениям в русской живописи". Таково было суждение Александра Бенуа. Когда-то оно звучало весьма авторитетно. Оно сохраняет свою непререкаемость и поныне. Это суждение было подхвачено Игорем Грабарем и включено в компендиум оценок, составивших введение к редактировавшейся им "Истории русского искусства". Какие-то особые соображения побудили Грабаря еще больше усилить похвалы. Он утверждал, что этот единственный в своем роде пейзаж даже "значительнее и левитановских картин".

Слава одного единственного произведения заслоняет всё прочее творчество живописца. Название "Сиверко" более памятно, чем имя Остроухова. Отдельная выставка его произведений, устроенная им в конце его жизни, не показала ничего нового. Все же - это несправедливо малая слава. В Третьяковской галерее висят "Золотая

осень", "Ранней весной", "Первая зелень". Правда, и здесь можно кое на что подосадовать. В одном случае – на наивно-неуклюжую обстоятельность изображения, в другом – не на менее наивную близость приемам письма Коро без надлежащего понимания валерной живописи. Но разве это так уж существенно, если во всех трех пейзажах та же жизненная правда , та же сурово-сосредоточенная любовь к родной природе, что и в "Сиверко"?

"Pictor tabulae unius "! – Живописец одной картины! Художник одной-единственной большой удачи! Можно ли так назвать Остроухова? Ведь нельзя же забывать и о других его удачах, пускай даже немногих и значительно меньших. К тому же он не только живописец, но и коллекционер, знаток искусства, художественный деятель, руководивший долгое время Третьяковской галереей.

А для меня –также и человек, несколько встреч с которым почему-то особенно хорошо запомнились.

II

Он и после Октябрьской революции продолжал хозяйничать в своем особняке на Трубниковском переулке. У входа появилась дощечка: "Музей русской живописи и иконописи". Хозяин утеснился в задних комнатах окнами во двор. Он мог доживать свой век среди собранных им картин, икон, рисунков, книг, керамики, бронзы. Это тоже было его удачей.

Соображения управленческого характера потребовали перевести музей на положение филиала Третьяковской галереи. Но Илья Семенович не любил туда жаловать. Вместо него приходили его сотрудники. Анатолий Павлович Первов держал себя почтительно и тишайше. Антонина Николаевна Щекотова, не снимая мехового пальто, садилась, закинув ногу на ногу. Привычным движением пальца она стряхивала пепел с папиросы. А заодно с легкостью завзятого дипломата освобождалась от груза очередных трудностей, которые возникали из-за распоряжений Наркомпроса или властного характера Остроухова.

Но вот в Галерее директорствовать стал Алексей Викторович Щусев. Времена менялись. И ему пришлось позаботиться, чтобы руководитель филиала отчитался в своей работе перед всем научным коллективом.

Из зал, наполнившихся ранними зимними сумерками, выгнали, наконец, последних ненасытных посетителей. Старик Андрей Маркович Ермилов принял рапорт о снятии постов внутренней охраны, и обошел еще раз, как это он делал еще при самом Павле Михайловиче, пустыни обоих галерейских этажей. Затем задвинули железные двери. Картины остались наедине друг с другом и, не чувствуя больше на себе человеческих глаз, могли начать свою таинственную ночную жизнь. Алексей Викторович отчаялся дождаться своих нерадивых заместителей - Машковцева и Эфроса, взявших себе за правило всегда опаздывать самым непристойным образом. Заседание началось без них. Илья Семенович грузно воссел в зале Ученого совета во главе большого стола. Этот зал служил тогда одновременно и помещением для библиотеки и комнатой для научной работы и приемной для посетителей. Но больше всего - местом, где неограниченно велись всякие разговоры, деловые и неделовые. Вокруг стола на кожаных креслах, стоявших некогда в доме Сергея Михайловича Третьякова, раскинулась гирлянда молодых научных сотрудниц. Кресла были так вместительны, что на них усаживались по двое, а то и по трое.

Илья Семенович ворчливо, с выражением равнодушия и явного презрения, докладывал то, что полагалось докладывать. Время от времени он оглядывался на Алексея Викторовича. Он как бы укорял его, зачем тот втравил его в такое тягостное ненужное дело. Но Алексей Викторович был, как всегда, непроницаемо благодушен.

Доклад уже кончился, слушатели вежливо подавали реплики, долженствовавшие демонстрировать интерес к работе старика, он снисходительно преподал несколько советов и начал уже явно скучать, когда в комнату влетел Абрам Эфрос. Всюду опаздывая, он все-таки всюду поспевал. Илья Семенович буркнул, как нельзя громче:

"Ну вот! Пришел бы еще на завтрашний день!"

Но разве Абрама Марковича можно было чем-то смутить? Он уселся за стол, как ни в чем не бывало, и тотчас же, не переводя духа, принял участие в беседе. Ему было всё заранее известно. И притом гораздо лучше, чем кому-либо другому. Участвовать в обсуждении доклада, которого он не слыхал, ему не составляло никакого труда.

Но нельзя же было позволить говорить одному только Эфросу, тем более что сам докладчик слушал его без всяких признаков

какой-либо приязни. Молодежи тоже следовало бы высказаться. И вот с другого конца стола после некоторой заминки раздался тоненький голосок самой маленькой, Жени Тюриной:

"Илья Семенович, а как обстоит дело с посещаемостью вашего Музея? И ведется ли просвет-работа?"

Илья Семенович медленно повернул голову в сторону крохотной фигурки, сидевшей на широком подлокотнике кресла. Посмотрел снисходительно-равнодушно, сделал паузу и веско ответил, что посещаемость очень большая. Приводить какие-либо цифровые данные он не считал нужным. Затем, осененный какой-то мыслью и явно подобрев, начал:

"Да, вот могу еще рассказать недавний случай".

И медленно, словно сидел в уютном кругу друзей перед камином, начал рассказывать, как музей посетили туристы-англичане, как он их водил по музею, удивлял, как они сумели оценить его собрание и в каком восторге уходили, как благодарили при прощании. Затем, помолчав немного, добавил:

"И что же вы думаете? Через день посыльный приносит мне большую корзину фруктов. При корзине, конечно, визитные карточки. И еще коробка сигар".

Закончив так свой рассказ, он взглянул слегка торжествующе на слушателей: учитесь, мол. Его высокая фигура казалась еще огромней среди женской молодежи, окружившей стол. Заговорили о научной работе. Старик, оживившийся было перед тем, стал теперь проявлять признаки усталости и нетерпения. Алексей Викторович напомнил, что вещь и Илья Семенович уже давно пишет большое исследование о древних металлических крестах. Вот и он мог бы как-нибудь сделать сообщение.

Но Илья Семенович был величественно неприступен. Он не стал даже говорить. Не поднимая лежащей на столе руки, он только широко раздвинул большой и указательный пальцы, как будто держал между ними большую кипу бумаги: вот сколько уже написано.

А затем посмотрел вокруг себя нахмуренным взором и безнадежно махнул широкой ладонью. Это как будто означало: столь ответственной работе и конца еще не видно. А вместе с тем его жест выражал и явное сомнение, стоит ли о ней рассказывать. Не интересно вам. Не поймете.

Алексей Викторович все-таки добился выселения трамвайных служащих из старого купеческого дома, который стоял на соседнем с Галереей участке. Небольшая пристройка соединяла галерейское здание с этим домом, фасад которого выходил на Малый Толмачевский переулок. И теперь в свои приезды в Галерею Остроухов пользовался, как и все посетители по делу, не главным входом с Лаврушинского, а новым, служебным. Из подъезда лестница вела во второй этаж. Подыматься по лестнице старику было не легко.

Он отсиживался в кабинете директора или у заведующего финансовой частью, обсуждая с ним сметные и всякие прочие дела. Как-то раз я был вытребован в финансовые аппартаменты. Приглашение исходило от Остроухова. Его мощная фигура представлялась еще грознее и грузнее рядом со стройненьким изящным Эладием Николаевичем Громцевым. Казалось, она заполняла всю комнату. Сурово взглянув на меня, но снисходительно поздоровавшись и даже назвав по имени-отчеству, о котором он, очевидно, у кого-то заранее осведомился, Илья Семенович стал развязывать у своей папочки шнурки. Порывшись в ней, он вынул последний номер Крокодила.

Этот номер имел большой успех из-за злой карикатуры на галерейских экскурсоводов. Изображала она развязного руководителя, стоящего перед "Иваном Грозным" и разглагольствующего о том, как на картине изображена борьба хищников - империалистов за рынки, и приводившего в связь с этой борьбой даже восточный ковер на полу.

"Вот я вам принес, чтобы вы посмотрели и сохранили. Мною куплены три экземпляра "Крокодила". Один послал за границу, Илье Ефимовичу Репину. Другой оставляю себе. А этот - передаю вам".

И особенно строго взглянул на меня. Он явно считал, что я ответственен за подобного рода якобы марксистское истолкование лучших произведений русской живописи и ставил мне это на вид. Но я попыталась сохранить на своем лице выражение полной невинности.

Ездить в Галерею ему становилось все труднее. Вспоминаю высокую дряхлую фигуру, медленно спускающуюся по беломраморной лестнице нового галерейского подъезда. Он держался за перила, еле-еле подымал пудовые гири ног и подвигался как-то боком со

ступеньки на ступеньку. Почтительнейший Эладий Николаевич со своей вечной легкой улыбочкой стоял рядом и терпеливо дожидался, когда кончится это мучительное нисхождение. Он держал за ручку разбухший от смет, отчетов, счетов портфель Ильи Семеновича, и этот портфель, раскачивающийся в воздухе, представлялся в его руках каким-то кожаным чудовищем.

По лестнице, большими шагами, поднимался рослый Алексей Васильевич Лебедев. Он когда-то устраивал Остроухрвскую персональную выставку в Галерее и пользовался некоторым благоволением старика. Они приветливо поздоровались. У обоих были большие ладони. Алексей Васильевич, как всегда, был внимателен. Он сердечно справился о здоровье. Илья Семенович нахмурился:

"Ноги никуда не годятся. Хочу попросить, чтобы их отрезали".

И показал, где это надо сделать. Резать пришлось бы много выше колена.

IУ

Музей в Трубниковском переулке по будничным дням не мог похвастаться посещаемостью. Я забрался туда для занятий с утра и был единственным посетителем. Остроухов в длинном темно-коричневом халате протопал по всей парадной анфиладе комнат, расположенных вдоль переулка, поздоровался и скрылся в своей половине. Затем снова появился. Увидя, что я занят чем-то всерьез, что-то записываю, любезно предложил, не хочу ли я выпить кофе, снова ушел и было слышно, что он кого-то тщетно вызванивает по телефону.

Ему было явно не по себе в то утро. Его тревожность и недовольство разрешились, наконец, вопросом: где можно сейчас найти Эфроса. Старик был разгневан. Что это за человек, который всюду носится и которого нигде, когда он нужен, не поймаешь?

Что я мог сказать? Абрам Маркович работает во многих местах. Его надо ловить в Наркомпросе, в Музее изобразительных искусств, в Союзе писателей, в Музее восточных культур.

У Ильи Семеновича начиналась тогда из-за экспозиции его картин тяжба с Абрамом Марковичем, о которой сам Эфрос, мужественно признав правоту своего противника, рассказал изысканно-образно в своих "Профилях". Старик не мог удовлетвориться неопределенно-

стью моего ответа. При всем своем упорстве он так и не разыскал растворившегося в московской суете егозу Эфроса. От нечего делать он принялся пытать меня. Расспрашивал о планах предстоящей переразвески в Галерее. Я мог рассказать немногое. Левитан, К.Коровин, Серов, Врубель должны получить по отдельному залу. Тогда Илья Семенович спросил в упор, а где поместят его картины. Я не знал и выразил предположение, что для них следует отвести зал вместе с пейзажистами конца XIXвека, Светославским, Дубовским и др. Не успел я закончить своих соображений, как тотчас же почувствовал, что мною совершена невероятная глупость.

Илья Семенович взглянул на меня, как на дурачка. И начал вразумлять. Его товарищи в русской живописи - это Серов, К.Коровин, Левитан. Его место - около них.

А затем стал звать Адель. Адель прибежала со своего поста в дальних залах музея. С перепугу она заговорила еще более ломаным языком, чем обычно. Илья Семенович приказал принести ключи. Принесли ключи, огромную связку. Старик - и как это он помнил, какой ~~он~~ из них к чему? - выбрал один из них и стал втолковывать Адели, какой шкаф надо отпереть и что надо сделать. Но вскоре сам себя оборвал:

"Да все равно вы всё напутаете. По карманам не ищите, а принесите самый сюртук".

Принесли сюртук. Из внутреннего его кармана Илья Семенович извлек туго набитый бумажник. Затем из бумажника было извлечено письмо, которое и прочли мне в назидание вслух.

Это было письмо Репина, содержавшее очень лестные для Остроухова, очень восторженные и весьма обычные для Репина восхваления, непосредственные, но не слишком содержательные. Впоследствии от Алексея Васильевича Лебедева, который и сам был медлительным рассказчиком, я слышал, что длительным чтением этого письма старик когда-то и его помучил. Несколько репинских комплиментов из этого письма Алексей Васильевич привел в предисловии к каталогу выставки Остроухова.

Казалось, что Илья Семенович мобилизовал это письмо, рассчитывая при помощи общепризнанного авторитета воздействовать на мое невежество. Но тотчас же я понял, что и для самого Остроухова, которого я считал в какой-то степени прикосновенным и к группе "Мир искусства", Репин значил очень многое. Гораздо большее, чем

я мог предположить.

После чтения репинского письма старик заметно смягчился. Я воспользовался его разговорчивостью и начал расспрашивать о Неврееве, художнике, который в 74-летнем возрасте решился на самоубийство. Илья Семенович дал ему высокую аттестацию как портретисту. Затем приподнял краешек завесы и над своими личными воспоминаниями. У Николая Васильевича Неврева собирались обычно в день его именин, на "Николу зимнего". Приходил и Павел Михайлович Третьяков. Написал как-то Неврев и большое панно - вид Москвы с Гончарной набережной. Старик не мог вспомнить, для какого купеческого дома в Леонтьевском переулке предназначалось это панно.

От воспоминаний о прошлом мы вернулись к текущим галерейским делам. Щусев намеревался тогда ехать в заграничную командировку. Илья Семенович недоумевал, зачем ему туда ездить, изучать новые музейные здания. Я что-то робко сказал о новых постройках небольших музеев в Гамбурге, в Мангейме. Илья Семенович снисходительно меня выслушал, но затем поморщился. Он знает, что за город Мангейм, бывал там.

- Как бы вам это объяснить? Вы в Дрездене бывали?
- Нет, не был.
- Гм! Ну тогда, скажем, Брюссель знаете?
- Нет.
- А Париж?
- Нет.
- Где же вы, батенька, тогда бывали?

Благословляя свою судьбу, давшую мне возможность когда-то съездить за границу, я пролепетал:

- В-в-в Италии...

У

В Третьяковской галерее были озабочены подготовкой экскурсоводов. Был устроен ряд лекций для них. А затем сами слушатели пожелали в дополнение к занятиям по истории русской живописи ознакомиться также и с историей Галереи. Обратились к Остроухову, попросили поделиться своими воспоминаниями.

Он согласился. Собрались у него в музее весенним, на редкость

пригожим вечером. Пришли и научные сотрудники Галереи. Народу собралось немало. В самом большом зале расставили стулья, поставили столик для докладчика. На мне лежали обязанности организатора. Я пошел к Илье Семеновичу сказать, что все уже расселись и его ждут. Он был в некотором беспокойстве; как-никак, а приход стольких гостей был для него событием. Проворчал:

"Там, верно, одни только женщины?"

Я успокоил, что есть и мужчины. Алексей Васильевич Лебедев пришел.

Остроухов, видимо, старательно обдумал, что будет говорить. Речь его потекла плавно, спокойно, вначале даже суховато. Он вспоминал давние годы Третьяковской галереи, её прежние порядки, повседневную жизнь, вспоминал по-деловому, говорил только о фактах. Временами могло казаться, что он отчитывается, быть может, даже оправдывается. Но отчитывается в том, что было очень дорого в прошлой жизни, в жизни, которая для него вот уже на исходе. Это было давнее прошлое, но восставшее вновь во всей своей жизненности, почти осязаемости. Внимание слушателей все возрастало. Речь была долгая. Началась она при дневном свете. Но как ни медлительны весенние сумерки, все же под конец в зале стало совсем темно и пришлось зажечь электричество.

Чужие воспоминания можно записать. Но их нельзя вспоминать. Рассказанное Остроуховым было очень просто, весьма содержательно и необычайно образно. Многое из этого сплелось потом в моей памяти с тем, что я читал или слышал от других. Выделить точно, что именно о Галерейской истории мне известно из тогдашних воспоминаний Ильи Семеновича, сейчас уже немыслимо. Пересказывать что-либо, в точности чего не уверен, нет никакой охоты. В памяти совершенно достоверными остались лишь крохи услышанного тогда. Мне приходится вспоминать лишь власть чужих воспоминаний, но не самые эти воспоминания.

Илья Семенович повествовал о бесконечных усобицах, больших и малых, чаще нелепых, чем принципиальных, которые сделались галерейской традицией, о борьбе не столько с идеями, сколько с невежеством и интригами. Перед ним лежали какие-то папки, дела тех давних лет. Он извлекал оттуда документы, деловую переписку, протоколы заседаний. Горечь прошлых обид все еще жгла. Старик защищался перед нами, словно перед будущим. Защищался, все еще

полный негодования и презрения к былым врагам. Он вспоминал о доносах. Читал выдержки из протоколов. Какой-то присяжный галерейский доносчик (среди слушателей пронесся шепот: Мудрогель) ябедничал, что от прочистки, проводимой по остроуховскому рецепту, портятся картины, сдирается самый красочный слой, что на "Виде Дворцовой набережной" Федора Алексеева одно здание из трехэтажного превратилось в двухэтажное. Подобного рода вздора было в доносах немало.

Под конец речь Ильи Семеновича уже совсем не походила на отчет. Она не изменила своего темпа, но утратила тон повествования и приобрела новый строй. Мирные воспоминания оборачивались скрытым драматическим монологом. А это уже было не под силу. Илья Семенович оборвал.

Но, несмотря на явную усталость, он был еще в силах говорить. Ему явно хотелось еще продолжать. Но о чем-нибудь другом... Слушатели проявили ненасытность. Посыпались вопросы об отдельных художниках, картинах. Илья Семенович упорствовал, что "Смех" Малявина был неприятен своей чрезмерной желтизной и поэтому отказ от его приобретения был не столь уж крупным упущением. Врубелевского же "Демона" не купили потому, что сомневались в его качестве, ждали еще большего от сорокашестилетнего художника, бывшего лишь в начале своего полного творческого расцвета. Илья Семенович без особой приязни вспоминал, как Врубель был обижен нежеланием Галереи приобрести его картину. У него уже проявились тогда первые признаки безумия. Обедая у Остроухова, он внезапно уставился на собеседника и возвысил голос:

"Да как ты смеешь не покупать моего "Демона"!

Илья Семенович не растерялся, стал успокаивать, пододвигать тарелки, стаканы:

"Вот, вот, пожалуйста, кушайте. Вот вино".

Рассказывая, Илья Семенович повторил и сдержанно-испуганную интонацию своей реплики и свое движение, как он двигал посуду на обеденном столе. Повторил так, что мне до сих пор кажется, будто я сам присутствовал при этом, как почтенный огромный Остроухов успокаивал тщедушного нервного Врубеля.

Беседа длилась три часа. Илью Семеновича благодарили восторженно, горячо, тепло прощались с ним, а он, как ни хмурился, все же не мог скрыть свое благодушие. К улице Воровского, бывшей По-

варской, и далее переулком к трамвайной остановке или шумной молодой стайкой. В воздухе была та особая свежесть весенней ночи, которая позволяет иногда москвичам воображать, что они жители южного приморского города.

Шли, шумели, восторгались, вздыхали, жалели, почему никто не догадался пригласить стенографистку. Маруся Коноплева как всегда со звонким выкриком утащала, что она всё очень подробно, почти стенографически записала. Но многое ли ей удалось тогда записать? Да и где они, коноплевские записи?

VI

Вечер воспоминаний получился настолько удачным, что его решили повторить. Снова собрались у Остроухова уже в начале июня. Снова был чудесный, но уже совсем летний вечер. Принесли цветы, пахнущие тем же покоем, что разлился к концу дня по приарбатским переулкам. Цветы принесли заранее и поместили в зале на столик, предназначенный для Ильи Семеновича.

Среди первых пришедших был Алексей Васильевич. С обычной своей внимательностью он сел в уголок с Надеждой Петровной. В её маленькой робкой фигурке я никак не мог увидеть жену Остроухова, дочь знаменитого богача-чаеторговца Боткина. Измученная старушка жаловалась Алексею Васильевичу на тяжелое болезненное состояние мужа, на его раздражительность, ставшую совсем невыносимой.

У Ильи Семеновича в столовой сидели Антонина Николаевна и почтительный мягкотелый человек, представившийся писателем Яковлевым. Хозяин был возбужден. Мне казалось, что на этот раз он не уверен в себе. Писатель решил не мешать своим присутствием предстоящему собранию и откланялся. Илья Семенович ворчал на "Антонину", которая зачем-то на минутку вышла. Антонина Николаевна превосходно умела попадать в тон старику. Он был явно измучен болезнью, бессонницей. Но она на все его резкости отшучивалась с иронической грубоватостью, которая действовала успокаивающе. Старик устало сидел в кресле. И все же его развлекли шуточки с прищелкиванием по шее насчет целебного воздействия рюмочки водки.

Заговорили на злобу дня, о появившемся в печати докладе Федорова-Давыдова. Там излагались основы новой, "марксистской" экспозиции художественных музеев. Доклад был весь боевой, с устрашающей цитатой из "18 брюмера" Маркса о проклятии наследия прошлого, висящем над человечеством. Мимо внимания Остроухова новые разрушительные идеи Федорова-Давыдова не могли пройти. О самом докладе он поостерегся высказываться. Но не стал скрывать своего возмущения выбором эпиграфа:

"Я, конечно, Карла Маркса изучать не изучал. Но в свое время читал его. И уж никак не могу допустить, чтобы он мог бы так относиться к прошлому. Ведь эта фраза выдернута из текста, и сказана она, верно, лишь в каком-то другом смысле".

Мне не очень верилось: Остроухов... и вдруг Маркса читал! При случае я рассказал об этой реплике Ильи Семеновича Алексею Васильевичу. Он допускал, что старик для красного словца мог и хвастнуть. Но считал также возможным, что при широте интересов Остроухова в молодости что-нибудь из книг Маркса ему могло попасться в руки.

Вопреки приказу зря старика не утомлять все же одна из самых почтенных музейщиц-экскурсоводок просочилась в комнату. Типичная "женщина-мироносица", к тому же весьма самоуверенная, она решительно подсела к столу и принялась в тоне обычного кажденья и преувеличенного внимания угождать хозяину. Он капризничал, а она храбро взялась налить ему стакан чая именно так, как он любит. Но её услуга была отвергнута. Тогда неуемная втируша попыталась заговорить о недавней смерти Бахрушина. И снова получилось нехорошо. Да еще как нехорошо! Илья Семенович разговора не поддержал, что-то подавил в себе и еще больше нахмурился. Он знал о тяжкой болезни Бахрушина, но самую его смерть от него скрывали.

Пора было начинать. Я увидел на столе у окна стереоскоп с вставленной в него карточкой. Не раздумывая, по какой-то детской привычке попросил разрешения посмотреть. Илья Семенович заинтересовался, что можно там увидеть. Передо мной расстилался широкий морской пляж с купальными будками, с людьми в старомодных купальных костюмах. На берег набегали плоские волны прибоя. Старик посоображал и сказал:

"Это в Биаррице".

Мне явственно помнится оттенок усталой грусти в его голосе.

И вот снова зал, уставленный рядами стульев. Медленно подвигались в вечернем полусумраке тяжелая фигура Остроухова к столику. Он увидел цветы, приподнял их к своему лицу, взглянул на слушателей со сдерживаемым выражением благодарности, но ничего не сказал.

Больших удач дважды подряд не бывает! Илья Семенович на этот раз был явно не в ударе. Он начал рассказывать о Мамонтовском кружке, об Абрамцеве. Но его речи теперь недоставало прежней обдуманности, вескости и образности. Слушатели сохраняли напряженную внимательность. Он сознавал, что от него ждут на этот раз еще большего, чем в прошлый раз, и это его беспокоило, раздражало. А тут на беду, запоздав, тихими шагами вошел Петр Иванович Нерадовский и по своей всегдашней привычке очень скромно, как можно более незаметно, присел в сторонке, у самого края. Он не мог не выделяться среди прочих сидевших здесь своей плотной фигурой, большой черной бородой, лысым теменем. Его приход явно нарушил ход мыслей Остроухова, а его сдержанные манеры еще больше развлекали старика. Илья Семенович как-то смутился. Нерадовский своим присутствием разрушил отдаленность того прошлого, о котором надо было вспоминать. Он сам был какой-то частицей этого прошлого. Посыпались легкие шуточки по адресу Петра Ивановича. Он добродушно отвечал на них своим глухим медлительным голосом. Старик стал его задевать: где это можно было так простудиться. Петр Иванович также шутливо отбивался: он простудился и потерял голос еще в Абрамцевские времена... Нельзя было понять, где серьез, а где выдумка.

Рассказ о дружбе с Серовым обещал быть занимательным. Он начинался с весьма дальних лет, когда вместе ездили в Италию и Остроухов на правах старшего должен был опекать своего юного спутника. Несмотря на страх перед холерой в Венеции, Серов настойчиво в ресторане требовал: "Устриц, устриц!"

Илья Семенович так выразительно воспроизвел эту упрямую реплику, а потом так образно рассказал, как мнительный Серов, почувствовавший себя в поезде плохо, удрал в другой вагон и сидел там в одиночестве, что снова казалось, будто ты сам в жизни встречал этого настойчивого угрюмого увальня Антона.

И затем резкий поворот в рассказе. Приезд во Флоренцию, гробницы Медичи, слезы на глазах столь сдержанного и скрытного Серова.

"Только еще раз я видел его слезы. Это - когда впервые показал ему приобретенную мной икону..."

Увы, из моей памяти выпало название этой иконы. Мне кажется или, вернее, мне хочется, чтобы то было знаменитое "Положение во гроб" из Каргополя. Но я не уверен в этом.

Прекрасно начатый рассказ о Серове стал вскоре как-то хиреть, иссякать. Илья Семенович сразу же обмяк, вяло придумывал, что бы сказать еще, предложил слушателям самим задавать ему вопросы... Но из этого ничего не получилось.

Пошушукались между собой, стали говорить, что уже достаточно много рассказано, что не хотят больше утомлять. Благодарили, вставали с мест, прощались.

Илья Семенович остался сидеть у своего столика. Чтобы выйти из зала, нужно было пройти мимо него. Он смотрел на шумливую толпу, еще раз благодарившую его и уходившую в полумрак обширной прихожей. Я был в числе последних. Меня что-то осенило сказать при прощании:

"Думаю, что мы не очень утомили вас".

Он не стал отвечать и лишь неопределенно взмахнул рукой. Мол, само собой разумеется. Да и все равно. Пенсне было у него в руке. Казалось, что вместе с ним он снял и всегдашнюю маску брюзги. Он слегка щурился. И неожиданно обнаружилось, что глаза у него - печальные и добрые.

УП

Хоронили Остроухова в жаркий июльский день. Ради траурного парада я одел черный тяжелый костюм. С раннего утра пришлось поехать в типографию. Там уже сидел неутомимый Гаврила Александрович Кузьмин. Мне не приходилось встречать человека такой же целеустремленности, настойчивости, энергии, упоения своей работой. Он требовал, чтобы я еще раз сверил корректуру с последней верстой тут же, у печатной машины. Это было в начале его широкой издательской деятельности при Галерее. Он был влюблен в выпускаемую им книгу. Гаврила Александрович - это была сама жизнь, неугомонная, деятельная жизнь. Жизнь, наконец, меня отпустила, и я, втиснувшись в трамвай, обливаясь потом, досадуя на свое траурно-парадное одеяние, поехал в Галерею. На Большом Каменном мосту мы обогнали похоронную процессию. В небольшой толпе провожавших

выделялась мощная упитанная фигура Николая Михайловича Щекотова. Он шел своей обычной уверенной походкой, без шапки под солнцем и утирал слезы. Это как-то совсем не шло ему. Щекотов - и вдруг плачет!

В Галерее парадные двери были уже настежь. Я присоединился к толпе ожидавших во дворе. Гроб понесли через весь двор на руках. Внезапно из толпы выскочил Абрам Эфрос, наискось перебежал дорогу, быстро привычным жестом бывалого человека, хорошо знающего все порядки, в том числе и похоронные, подсунул левое плечо под гроб, сразу же зашагал в ногу с другими несущими. Через несколько секунд он был уже среди них головным.

Гроб медленно поплыл по залам нижнего этажа, колыхаясь высоко над головами провожающих. Проплывая под притолокой дверей, он, казалось, вот-вот заденет её. Он плыл мимо еврейских безумств Марка Шагала, мимо Татлинской "Доски № I", мимо бубнововалетчиков, "Голубой розы", "мирискусников". Дамы Бомовского "Вечера" в аршинных прическах узкими щелочками глаз смотрели изумленно на медлительно тянувшуюся процессию, на взоры провожающих, подернутые влагой. Прошли в тот угловой зал, где в соседстве с Нестеровым, согласно Эфросовым "выкладкам", полагалось бы быть Остроухову. И вот, наконец, зал Константина Коровина, тот самый, где сам Илья Семенович властно указал для своих картин простенок, очень узкий, но зато под верхним светом.

Гроб поставили. Рядом, за занавеской, играло трио, играло очень хорошо. Люди, теснившиеся вокруг гроба, были одеты буднично, в легких летних платьях, лишенных какой-либо траурной торжественности. Но глаза блестели и по лицам размазывались следы слез и пота. Было невыносимо душно. На стене же все по-прежнему бессмертно сияли весенней свежей зеленью русские березки среди овражка. А пониже их все так же неугомонно гудел "Сиверко" над суровым простором русской реки.

Музыка была очень хороша. Сменялись почетные караулы у гроба. Распорядитель налаживал их смену. У него было отчаявшееся лицо. На плече белело меловое пятно: очевидно, вымазался о стену, когда нес гроб. Владимир Николаевич Домогацкий, мастер скульптурных надгробий, сам составивший детальный ритуал для собственных похорон, все никак не мог найти еще трех скульпторов, чтобы составить вместе с ними караул. Он отстоял положенные пять минут

вместе с ГАХН"овцами.

Произносили речи. Порядок гражданской панихиды был тогда внове. Ей, несомненно, не хватало каких-либо перипетий; неизвестным оставалось, на чем же следует её кончать. Не было нужного строя. Я ушел бродить по Галерее. Заглянул за занавеску, где в полной испарине трудились музыканты. Но играли они очень хорошо. Музыка, как всегда, была самым лучшим. По залам слонялись факельщики, томившиеся в ожидании. Их нелепые фигуры мелькали перед призрачными девушками Мусатовского "Реквиема", которых они рассматривали с недоумением. У входа, под галерейской лестницей, еще один факельщик, самый толстый, главный, вызывал по телефону Даниловское кладбище. Затем долго втолковывал в трубку кому-то, что для художника нужно рыть могилу пошире, что гроб очень большой.

Все, кому надо, отстояли, наконец, у гроба и сказали свои речи. И вот снова гроб плыл по залам и снова казалось, что он заденет притолоку. И снова неловкая суетня, старомодные дроги, факельщики, венки.

Процессия двигалась от ворот в сторону Большого Толмачевского переулка. Там, за углом, уже давно её поджидали священники в ризах. Вот гроб повернул в переулок, дьякон взмахнул кадилом и раздалось древнее благочинное пение. В этом взмахе, в этом пении были и строй и успокоение.

Но для меня всё это было чужое. Я лишь наблюдал издали. Я остался стоять у ворот Третьяковской галереи.